

ПУШКИНСКИЙ ДОМ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

Олег Викторович Творогов принадлежит к той замечательной плеяде петербургских филологов, которая сложилась в 1950–1960-е годы в легендарном отделе древнерусской литературы Института русской литературы РАН. Его исследования памятников русской хронографии составили отдельное направление в науке. Помимо собственных трудов, учёный активно участвовал во всех коллективных изданиях родного отдела, составляющих гордость и славу отечественной филологии, — “Памятники литературы Древней Руси” (12 томов), “Библиотека литературы Древней Руси” (20 томов, выпуск продолжается), “Энциклопедия “Слова о полку Игореве” (5 томов), “Словарь книжников и книжности Древней Руси” (7 томов).

На правах старейшего сотрудника Пушкинского Дома и, что немало важно, увлекательного рассказчика, Олег Викторович вспомнил в интервью свой путь в науку, поведал о жизни в альма-матер, дал яркие и живые портреты коллег по филологическому цеху.

— Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, о ваших корнях, о вашей военной юности и послевоенной молодости.

— Мой отец и дед — петербуржцы. Бабушка (урождённая Момырёва) из духовного звания. В 1936 году их как бывших выселили из Ленинграда на Онегу. А отец работал в управлении шоссейных дорог, которое, страшно сказать, входило в НКВД. Но ему гордо сказали, что дети за отцов не отвечают. Дед умер в ссылке, а бабушка вернулась патриоткой и умерла в декабре 41-го.

В начале войны нас эвакуировали в Ярославскую область, затем мы переехали в Устюжну, где вскоре моя мать умерла. Я остался один. Отец был в Тихвине, тогда прифронтовом городе. И вот что сделали. Меня запихнули в грузовик, забросали сверху ватниками и привезли в Тихвин, а потом задним числом оформили вызов. Там я сразу устроился счетоводом. А в декабре 43-го нас с отцом перебросили в ещё осаждённый Ленинград. Я не считаю себя блокадником, так как застал её конец, однако успел досыта наесться обстрелами. Последние месяцы до снятия блокады немцы обстреливали город с особым ожесточением. Помню, я шёл по Кировскому мосту, и начался сильный обстрел. Я остановился посреди моста (во мне жила романтика) и сказал себе: “Я должен запомнить это на всю жизнь!”. Не было секунды, чтобы над мостом не пролетал снаряд. Воздух был весь наполнен зловещим гудением, а с Петроградской стороны глухо доносились разрывы снарядов...

В другой раз во время обстрела меня спасло чудо. Я шёл вдоль Лебязьей канавки и вдруг чувствую, что меня кто-то поднимает и переносит через канавку. Приземлился я на рыхлый снег, поэтому ударился несильно. Очнувшись, я пошёл посмотреть, как это получилось. Оказалось, что снаряд попал... в открытый люк. Представляете, какая случайность!

В апреле 1944 года я ушёл на военный завод и пять лет проработал там токарем, а затем слесарем. Помню, к нам вернули двух генералов из лагеря, присвоив им при этом звание главного конструктора боеприпасов Советского Союза. Мы разбирали адские машины, которые немцы, отступая, оставляли в разных городах. Как-то раз приносит мне инженер мину и испуганно говорит: “Слушай, в mine включился часовой механизм, а разобрать не можем. У тебя есть ключ?” – “Есть, оставляйте”. Он оставил мину и, счастливый, убежал. Я быстро нашёл ключ, а вот сам часовой механизм найти не могу (второпях я заслонил его чертежом). Время идёт, в любой момент может быть взрыв. Тогда я отвернул детонатор, и буквально через минуту раздался удар, капсюль воспламенился, взрыв... Не успею я вовремя отсоединить детонатор, не сидел бы я перед вами.

Параллельно с работой на заводе я учился в вечерней школе. Потом я служил три года в армии; вернувшись, доучился в “вечёрке” и уже будучи 25-летним молодым человеком поступил в педагогический институт имени Герцена. Конечно, тогда там не давали такого сильного образования, как в университете, но с другой стороны, в институте я был сталинским стипендиатом (это едва ли было бы возможно в ЛГУ), что позволило мне сводить концы с концами.

– А как вы оказались в Пушкинском Доме?

– Меня взял туда Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Это было в 1961 году, я учился в аспирантуре в ЛГУ (моим научным руководителем был Борис Александрович Ларин). Одна московская дама, тяжело больная, взялась составлять словарь “Слова о полку Игореве”. Ей нужен был помощник. А у меня к этому времени был уже некоторый опыт в подобном деле (я составил словарь “Повести временных лет”), и Дмитрий Сергеевич, зная об этом, пригласил меня в Пушкинский Дом для работы над словарём.

– Вы работали вместе с Лихачёвым почти 40 лет. Что вы можете сказать о его научной и общественной деятельности?

– Лихачёв – фигура сложная. С одной стороны, он очень много сделал для древнерусской литературы. Благодаря ему она стала общеизвестной и общедоступной. Заседания отдела, которые вёл Лихачёв, были колоссальной школой. Мы видели его эрудицию, его умение разбираться в самых разных вопросах: языковых, искусствоведческих, историографических и так далее.

Не могу не упомянуть и о том, что я многим ему обязан в отношении устройства моего быта. Дмитрий Сергеевич хлопотал за меня, чтобы мне от Академии наук предоставили жильё в знаменитом академическом доме на 7-й линии. Тогда как раз пропадала квартира академика Крачковского: делить её было жалко, а больших семей не было. А у меня было на тот момент 9 человек (две дочери, их мужья и внуки). Так я оказался в этой квартире.

И совсем другое дело Лихачёв, как общественный деятель. Здесь, я считаю, его деятельность носила порой неоднозначный характер. На этой почве у нас были довольно серьёзные разногласия. Я ему прямо говорил: “Дмитрий Сергеевич, когда я слышу по радио, как вы выступаете не о древнерусской литературе, я выключаю радио. Мне стыдно за вас!”

Как мне представляется, Лихачёву было присуще некоторое тщеславие, кроме того, ему было свойственно переоценивать отдельных политических деятелей. К примеру, он мог часами восторженно рассказывать о Горбачёве, о Раисе Максимовне, о том, как глубоко и тонко она понимает литературу, искусство. Как-то я устроил ему мини-спектакль, разыграв роль Раисы Максимовны, посетившей художественную выставку: “Посмотрите, как хорошо написана эта картина: небо голубое, а листья, они зелёные...” Лихачёва это привело в ярость: “Олег Викторович, сейчас же прекратите, что вы себе позволяете!” Те же самые иллюзии он питал и к нашему “первому президенту России”. Помню, когда его принял Ельцин, он с восторгом рассказывал: “Олег Викторович, вы не поверите, он умнейший человек!” А как он был очарован Собчаком! “Анатолий Александрович провёз меня в открытой машине по всему году. Теперь мне открыты все двери в городской администрации!”

Но, как и следовало ожидать, когда понадобилась помощь Пушкинскому Дому, Собчак ничего не сделал.

И всё же, несмотря на некоторые с ним расхождения в оценках людей и событий, Лихачёв является для меня одним из немногих людей, которые сыграли в моей жизни значительную роль и оказали большое влияние.

– **Вы являлись ответственным секретарём монументальной 5-томной энциклопедии “Слова о полку Игореве”. А кто был инициатором этого уникального издания?**

– Идея принадлежала Лихачёву. Но от непосредственной работы над изданием он устранился, и основной груз лёг на мои плечи. На презентации этой энциклопедии мне пришлось заявить: “Если вы увидите, что ответственный секретарь написал 240 статей, то не думайте, что это из тщеславия, – это от отчаяния”. Дело в том, что писать было некому. Москва дала менее десяти статей. Сроки поджимали, и мне пришлось в срочном порядке писать за москвичей недостающие материалы.

– **Вы, наверное, знали историка Александра Зимина, который написал нашумевшее в своё время исследование о “Слове”, где доказывал его поддельность.**

– Знал и, более того, способствовал изданию его книги “Слово о полку Игореве” (она вышла в 2006 году), хотя я не разделяю зиминской точки зрения по этому вопросу. Когда я писал к ней предисловие, вдова Зимина просила меня, чтобы я согласился с зиминской гипотезой, чего я, конечно, не мог сделать. Я написал о своём несогласии, но указал, что это наиболее серьёзная работа скептика. К слову, москвичи обвиняли нас, что мы во главе с Лихачёвым не даём ходу книге Зимина. Но ведь именно мы первые её издали, хотя, повторю, я всегда был оппонентом зиминской версии (не могу здесь без улыбки вспомнить, как после моего выступления на дискуссии по поводу Зимина академик Рыбаков при всех обнял меня и воскликнул: “Вот спаситель России!”).

Вообще, я должен вам признаться, что мы потратили на “Слово” невероятно много времени и сил. Было написано очень много пустой, ненужной литературы. В то же время надо понимать, что в советскую эпоху, пожалуй, только через “Слово” (изучение которого официально было разрешено на самом высоком уровне) можно было “проникнуть” в древнерусскую литературу, не боясь при этом быть обвинённым в чрезмерных православных симпатиях. Я хорошо помню, какой поднялся скандал, когда в 79-м году мы опубликовали статью “1000-летие русской литературы”, где обосновывали возникновение литературы приятием на Руси христианства.

Конечно, я вовсе не хочу умалить значение ни самого “Слова”, ни исследований о нём. Много здесь ещё загадочного. Например, есть точка зрения, что “Слово” было написано и произнесено княжеским певцом на некоем торжественном мероприятии, и мы должны быть счастливы, что оно вообще было записано.

– **Всё-таки кажется странным, что такой серьёзный историк мог поверить в поддельность “Слова”. Есть мнение, что таким образом Зимин фрондировал против тогдашней официальной исторической науки.**

– Нет, он был буквально зациклен на своей идее позднего происхождения, на том, что он нашёл автора “Слова” – архимандрита Иоиля (Быковско-го). Однажды я был у него в гостях. Посидели, выпили, и вдруг он мне говорит: “Олег Викторович, вы же умный человек, вы же понимаете, что я-то прав! Но я понимаю, что если вы признаётесь в этом, Лихачёв вышвырнет вас как котёнка из Пушкинского Дома!” И тут я понял его трагедию: он был совершенно уверен, что ему удалось убедить в своей правоте и нас, оппонентов, но только мы, карьеристы, боимся в этом признаться.

– **Как возникла идея выпустить 12-томник “Памятники литературы Древней Руси”?**

– Всё началось с “Изборника”, который вышел в “Худлите” в знаменитой серии “БВЛ”. Это книга произвела большое впечатление в верхах; вскоре оттуда поступило предложение издать свод памятников древнерусской литературы в расширенном виде. Лихачёв сразу ухватился за эту идею. Было, конечно, много трудностей и цензурных препон. Например, руководство издательства нам прямо говорило: “Будете печатать “Слово о законе и благодати” – закрываем серию!” В итоге это замечательное творение XI века удалось опубликовать только в последнем, 12-м томе.

– **В чём, по вашему мнению, отличие петербургской филологической школы от московской?**

– Москвичи обвиняют нас, что мы буквоеды. И это действительно так. Да, мы текстологи, источниковеды, а у них больше присутствует стремление к теоретическому осмыслению. На мой взгляд, всё-таки надо начинать с источниковедения. Вот, например, у Лихачёва есть замечательная книга “Человек в литературе Древней Руси”, которая читается, как роман. Но ведь она, к сожалению, с фактической стороны уже устарела. Потому что там “Хронограф русский” отнесён к XV веку (и на этом строится концепция книги), а мне удалось выяснить, что он написан в XVI веке.

– **Вашими коллегами по институту были Варвара Адрианова-Перетц, Лев Дмитриев, Александр Панченко. Какими они вам запомнились?**

– С Варварой Петровной Адриановой-Перетц я был в хороших отношениях. Когда я защитил кандидатскую, она прислала письмо, где была такая строчка: “Особенно поздравляю, что у вас диссертация собственная”. Я отдал её письма в архив с просьбой в течение 50 лет не открывать их. Дело в том, что в переписке она была очень откровенна и весьма нелицеприятна в оценках многих филологов и деятелей культуры.

Лев Александрович Дмитриев – исключительно работоспособный, скрупулёзный исследователь и в высшей степени порядочный человек. Я его очень уважал. Он первый начал разрабатывать тему древнерусских житий и своё членкорство вполне заслужил. У нас иногда происходили забавные диалоги с его женой, которая любила своего мужа и очень ревновала к нему: “Олег Викторович, вы опять написали статью, вы всё хотите обогнать Льва!” – “Руфина Петровна, что вы такое говорите, мне просто интересно писать!” – “Так вам я и поверила!” – недовольно ворчала она.

Панченко – талантливый человек; у него было две блестящие книги, а третью написать уже не смог, хотя и мечтал об этом. Увы, пристрастие к спиртному сгубило его. Был он честлюбивый человек, ревновал к Лихачёву. Помню, когда меня, Панченко и Дмитриева выдвинули в членкоры, и прошёл Дмитриев, Панченко звонит мне, уже несколько подвыпивший, и кричит: “Олег, ну почему не ты, почему не ты!” Но в его интонации чувствовалось другое: ну почему не я!

– **Я знаю, что вы довольно критически относитесь к Юрию Лотману. С чем это связано?**

– Лотман, пока занимался XVIII и XIX веком, был на своём месте, а когда пошёл в структуралисты, тут его, что называется, понесло. Как человек он мне казался избалованным и тщеславным. А после одной истории я даже стал его презирать. Это произошло в Венеции на международной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси. Российскую делегацию представляли писатели, филологи, православные священники. И вот дошла очередь выступать Лотману. В зале сразу собирается толпа из иностранцев, впрочем, принадлежащих одной национальности. Говорит увлечённо, интересно, но совершенно не по делу. Проходит 20 минут. Председатель останавливает и говорит: “Юрий Михайлович, ваше время истекло” – “А я ещё не начинал. – отвечает Лотман. – Это я просто так размышляю”. Дают ему ещё 20 минут. И опять то же самое. Председатель снова останавливает. Зал возмущён: как это так – знаменитого Лотмана прерывают. Дают в виде исключения ещё 20 минут...

Так как я не специалист по Пушкину, то по приезде в Ленинград спрашиваю у пушкиниста Сергея Фомичева: “То, о чём говорил Лотман, это действительно важно?” В ответ Фомичёв начинает дико смеяться и рассказывает мне следующую историю. Однажды Лотман приносит к нему для печати статью, которую он уже опубликовал где-то лет 30 тому назад. Фомичёв говорит: “Юрий Михайлович, вы же публиковали это?!” – “Нет!” Тогда Фомичёв берёт с полки “Временник Пушкинской комиссии” за такой-то год и показывает. “Что вы говорите! – без тени смущения восклицает Лотман. – Совершенно не помню!”. Так вот, с этой же статьёй он выступал на конференции в Венеции.

А насчёт структурализма, самым активным сторонником которого в России, как известно, был Лотман, у меня есть такая эпиграмма:

*Язык неведом, правил тоже нет;
В машину заложу пустую перфокарту, —*

*И что ж? Машина выдала ответ:
Сначала долго бормотала бред,
Потом устало выдохнула — Тарту!*

Структуралисткой была и его супруга, Зара Минц, любившая составлять частотные словари. Один из них был посвящен Блоку. В частности, она выяснила, что в его поэзии частотность слова “любовь” от книги к книге увеличивается. Меня это заинтересовало, и я не поленился проверить. Оказалось совершенно наоборот: если учитывать объём текстов (что совершенно обязательно), то частотность уменьшается. Вообще, эти частотные словари – разговор особый. Я о них даже написал статью, где рассматривал частотность как сигнал, как начало литературоведческого исследования; а некоторые структуралисты на ней всё и заканчивали.

В связи с конференцией в Италии мне сейчас вспомнилась ещё одна сцена. По Венеции мы ходили вчетвером: я, писатель Дмитрий Балашов, дирижёр Владислав Чернушенко и митрополит Кирилл (нынешний патриарх). И вот однажды мы зашли в магазин. Митрополит – обаятельный человек! – галантно спрашивает у необычайно красивой продавщицы, на каком языке она желает изъясняться: на английском, французском или немецком. Она выбирает какой-то язык, они разговаривают, и уже после того как мы вышли, владыка говорит мне: “Дорогой профессор! Я видел, с каким восторгом вы смотрели на очаровательную продавщицу, но я должен вас огорчить: она с таким же восторгом смотрела на красные сапожки Балашова”. А Балашов ходил по Риму и Венеции в атласной белой рубашке, подпоясанной ремешком, и ярко-красных сафьяновых сапожках. . .

– **Как бы вы оценили состояние науки о древнерусской литературе?**

– Ещё лет 15 назад я оптимистически смотрел на будущее нашей науки. У нас тогда в отделе появились очень талантливые молодые люди, но ведь сейчас им под 50 или за 50, а новое поколение на смену не приходит.

– **Кто ваш любимый ученик?**

– Евгений Водолазкин. Он сейчас занимается интересной вещью: делает историю палеинных текстов.

– **Какими работами вы больше всего гордитесь?**

– У меня была мечта реконструировать древнерусскую литературу, какой она дошла до нашего времени, то есть перечислить все памятники XI–XIV века с указанием всех списков. И я осуществил её. Когда я начинал работу, Лихачёв спросил меня: “Олег Викторович, но ведь там, наверное, не будет “Слова о полку Игореве” – “Да, не будет, потому что списки “Слова” отсутствуют”. – “Тогда это нельзя публиковать!”. Несмотря на его недовольство, я всё же опубликовал. На мой взгляд, без такого перечня филологу нельзя плодотворно работать. Вообще описание рукописей очень важная вещь. Ведь на сегодняшний день описано только около 25 процентов.

Кроме того, ставлю себе в заслугу издание нескольких памятников русской хронографии, в частности, “Летописца Еллинского и Римского” (издание текста по всем спискам и комментарии). “Летописец Еллинский” – это всемирная история в изложении древнерусских книжников по состоянию на середину XV века. Поражает интерес наших предков к всемирной истории. Они знали, когда мир начался и когда он закончится. Перечислены все византийские и римские императоры, в том числе малоизвестные. Ещё сто лет назад Шахматов говорил, что надо издавать “Летописец”. Приятно вспомнить, что за его издание и исследование я получил престижную Шахматовскую премию.

*Беседа вёл Илья Колодяжный
г. Санкт-Петербург*